

Обыкновенный Холокост, или Биография выжившего

Елена Рожественская

*Кто вспомнит? И как память сохранить?
А как хранят вообще?
Хранят и в сахаре, и в соли,
на солнце и в замерзшем состоянии,
надежно запечатав, засушив, набальзамировав.
Но память гораздо лучше сохранять иначе,
в растворе забвения, чтоб ни одно воспоминанье
не проникло внутрь и не смутило вечного покоя памяти.*

Иегуда Амихай (Пер. З. Копельман) [Амихай, 1998]

В статье¹ рассматривается проблематика нарративизации экзистенциально пограничного опыта. Положенный в основу транскрипт интервью с выжившим в концлагере еврейским мальчиком, комментируется с позиций социальной травмы и культурно-исторического подхода, которые позволяют учесть как социальные стратегии контртравмы в жизненном пути, так и нарративные стратегии рассказчика. Содержание семейного мемората биографанта обнаруживает через упоминание персонажей и связанных с ними семейных историй свойственные клану жизненные сценарии и ценностно окрашенные модели поведения. Поскольку лишения, опыт дискриминации испытан несколькими поколениями и транс-

¹ Название статьи имеет отсылку к названию документального фильма Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», вышедшему на экраны в 1965 году.

лируется следующим поколениям, наследуется и способ их преодоления.

Биографии переживших Холокост представляют собой не только устно-исторический, архивный интерес как свидетельства той страницы истории о войне, которая у нас в стране явно еще не дописана. С философской точки зрения, – это биополитический (в терминах М. Фуко) эксперимент с условиями существования, который изменяет субъекта, лишая его субъектности. Этот режим десубъективации описан в известных парадоксах Примо Леви [Цит. по Дубин, 2009. С. 7]. Первый из них гласит: «Мусульманин¹ (лагерный доходяга) – это воплощенный свидетель», но его субъективность как свидетеля расщеплена: «Свидетель как этический субъект – это субъект, который свидетельствует об утрате субъективности». Второй парадокс Леви: «Человек – это тот, кто может пережить человека...». Двойное выживание выражается в том, что нечеловек – это тот, кто выживает после человека; а человек – это тот, кто выживает после нечеловека. «То, что может быть беспредельно разрушено, может беспредельно выживать» [Цит. по Дубин, 2009. С. 7].

Но это еще и социологически важный материал, требующий своего изучения. Двойное выживание, по П. Леви, оборачивается идентификационными разрывами. Сложность его анализа связана не только с тем, что пережитые страдания, страх и лишения провоцируют рассказчиков на «новояз», требующий своей семиотической декодировки и психотерапевтического подхода. Внимание вызывает сама биографическая работа рассказчиков по преодолению травмы-стигмы, ощущаемой и частично осознаваемой как отклонение от поколенческой биографической нормы. Этот своеобразный ремонт биографий может быть прослежен на двух уровнях – в плоскости реконструируемых стратегий нормализации жизненного пути, приведения их к норме биографии своего социального времени, а также в плоскости самого рассказа как нарративные стратегии представления событий жизни.

Но прежде стоит упомянуть о терминологическом конфликте, которым нагружено употребление понятия травмы в поле социологии и истории. Историки (А.М. Руткевич, И.М. Савельева, А.В. Полетаев) выступили резко против словоупотребления травмы, привносящего в социально-исторический дискурс медико-психоаналитический контекст, влияющий на методологию исторического исследова-

¹ Muselmanner, мусульманин – лагерный термин, идентичный гулаговскому термину «доходяга», живой труп, человек на грани жизни и смерти, уже подчинившийся судьбе. Внешне напоминает мусульманина с намотанным на голову тряпьем, напоминающим тюрбан.

дования. «Публично напомнить о своих страданиях – хороший способ получить те или иные привилегии или даже добиться выплат..», – пишет А.М. Руткевич [Руткевич, 2005. С. 247]. Так, говоря об истории XX века с огромным числом свидетельств жертв концлагерей, войн, депортаций, геноцида, А.М. Руткевич задается вопросом, а что делать с этими данными?

Историку они нужны для выяснения того, что на самом деле происходило в прошлом, тогда как собирают эти данные зачастую с совсем другими целями [Руткевич, 2005. С. 237].

Социологи, благодаря П. Штомпке, взяли на вооружение сюжет травмы: тематизируется и истолковывается культурная травма как следствие столкновений культурных ценностей социума с «чужим» и враждебным окружением, как масштабный социокультурный кризис базисных ценностей, смыслов и значений социальной реальности [Штомпка, 2001]. Прежние правила социального порядка ставятся под сомнение, что влечет за собой утрату индивидуальной и групповой идентичности. Затем возник и социологический аспект контртравмы как усилия дезадаптантов по ресоциализации, как свидетельство затягивающейся социальной ткани. С точки зрения А. Здравомыслова,

...общество находит в себе силы к преодолению травмы ...прежде всего, с помощью иной композиции социального действия, которое создает социальную базу преодоления травматического сознания [Здравомыслов, 2008. С. 10].

Мы бы хотели подчеркнуть, что, помимо культурной рационализации, в преодолении травмы социального происхождения имеет большое значение не только дискурсивная доступность нарратива о травме и его оборот в культуре, но также придание статуса экспертного свидетеля самому нарратору. Не случайно архив Шиндлера закрыт для внешнего анализа, он предназначен для культурной памяти этнического сообщества, пережившего Шоа¹, и целей коллективной идентификации. Этот вариант контртравмы наиболее ярко иллюстрирует двойственность термина, сохраняющего, консервирующего саму информацию о травме, вернее, коллективный нарратив о ней, с эффектом неизбежной виктимизации.

Социологическое прочтение групповой травмы принимает во внимание посттравматическую социальную ситуацию. Она раскрывается как поле возможных или невозможных вследствие травмы

действий, а также наличие или значимое отсутствие внутриколлективного и дискурсивного нарратива о травме, его структуры, разрывов и ремонта – как биографических стратегий по выходу из травмы, так и нарративных способов ее донесения, инвентаризации биографических ресурсов для преодоления травматического опыта.

Нам ближе позиция П. Штомпки – А. Здравомыслова, особенно в отношении анализа биографического материала, качественно ориентированной методологии сбора (нарративных интервью) и анализа историй жизни. Тем не менее, понятие травмы в данном контексте нуждается в ряде замещающих и расшифровывающих терминов, которыми мы могли бы и удовлетвориться, если бы сочли возможным пренебречь/дистанцироваться от неизбежно привносимой субъективности рассказчиков, которую иные термины, рационализируя, скрывают. Имеется в виду утрата смысла (кризис отношений прошлого и настоящего, в рамках которого прошлое обесценивается, или опыт, который разрушает возможности его интерпретации), утрата смысловой связности биографического конструкта или когеренции¹ биографии. Как эмпирически доступный феномен эта проблематика обнаруживается в биографических разрывах, невозможности для рассказчиков совместить в едином пространстве рассказа все фазы жизненного пути, т.е., крушении единого нарратива, его фрагментации, лакунах, фигурах умолчания и прочих нарративных стратегиях. В этом смысле нарративная идентичность, на прагматичном и локально ситуированном уровне которой происходит «ремонт» биографии, – важное поле анализа тех ресурсов, с которыми рассказчик решает самую главную задачу своей жизни, – собирает свое Я.

В анализе подобных биографий² мы полагаемся, отчасти, на культур-антропологический подход Йорна Рюзена в изучении кризиса исторической памяти, который возникает при столкновении исторического сознания с опытом, выходящим за рамки представлений о социально-исторической норме, – катастрофическим опы-

¹ Связность/когерентность понимается как создание связного образа на основе автобиографических воспоминаний и биографической перспективы собственного прошлого. Когеренция в широком смысле включает темпоральную непрерывность, а также синхронизацию образов Я и действий рассказчика в различных сферах и периодах жизни [Рожественская, 2010].

² Речь идет о собранных биографиях международного документального проекта «Принудительный и рабский труд», интервью с угнанными на работу в Германию и пережившими тяготы подневольного труда. Результаты этого проекта, координировавшегося Институтом истории и биографии Университета Хаген (Германия) при поддержке Фонда «Память и будущее», опубликованы [см.: Nikitina, Rozhdestvenskaya, Semenova, 2010].

¹ Ивр. תשׁוׁף – бедствие, катастрофа.

том. По мнению Й. Рюзена, вообще обращение к микроистории, конкретным биографиям – это проявление внимания к способу, каким люди воспринимали и интерпретировали их собственный мир, проникновение в сознание изучаемых людей в попытке тем самым вернуть им культурную самостоятельность восприятия их собственного мира характерным для них способом, который отличается от нашего [Рюзен, 2001. С. 12]. Утверждая оспариваемую методическую рациональность микроисторического подхода, он пишет, что

не существует памяти, абсолютно не претендующей на правдоподобие, и эта претензия основывается на двух элементах: внесубъективном (transsubjective) элементе опыта и intersubъективном элементе согласия [Рюзен, 2001. С. 13].

Если память – закрепленный и воспроизводимый, передаваемый в семейном и социальном нарративе опыт, то intersubъективность – другой элемент исторического смысла: история немислима без согласия тех, к кому она обращена. Но, как пишет далее Рюзен, «ее правдоподобие зависит не только от ее отношения к опыту. Оно зависит также от ее отношения к нормам и ценностям как элементам исторического смысла, разделяемым сообществом, которому она (история) адресована» [Рюзен, 2001. С. 13], то есть зависит от дискурсивных правил, которые создают intersubъективное согласие.

Преодоление последствий травматичного опыта мы находим в рюзеновском наборе стратегий детравматизации [Рюзен, 2005], которые помещают травмирующие события в иной исторический контекст, – анонимизация субъекта насилия, морализация, эстетизация, телеологизация, историческая рефлексия, специализация (как сегментация проблемы в интересах различных специалистов). Мы разделяем позицию Й. Рюзена: «...историческое исследование по своей логике является культурной практикой детравматизации. Оно преобразует травму в историю» [Рюзен, 2005. С. 60], но отметим, что эта концепция целиком и полностью построена на публичном, не внутреннем дискурсе закрытой социальной группы с травмирующим опытом. Нарративные же стратегии нашего объекта анализа прошли эволюцию от молчания, умолчания, к частичному проговариванию и, наконец, к открытой позиции активиста, сформировавшего общественную организацию узников концлагерей и гетто, но вынужденного постоянно доказывать свое право на признание.

В отношении выживших в концлагерях некоторыми вышеупомянутыми авторами (П. Леви, Дж. Агамбен) постулируется определенная связь между стремлением выжить и готовностью свидетельствовать. Они усматривают особую функцию свидетельского повест-

ования, рассказа о случившемся – ценностную, смысловую: «Выживший призван помнить, он не в силах не вспоминать» [Цит. по Дубин, 2009. С. 4]. Решая эту задачу, бывший заключенный, низведенный до объекта насилия, отчасти возвращает себе субъектность. Но, отметим мы, фоном дискуссий с негационистами и «ревизионистами Холокоста» является правовое поле законов о Холокосте, когда установлены юридические понятия ответственности и даны оценки. Какова функция рассказа о прошлом соотечественника, пережившего Холокост? Ее реконструкция осложнена, прежде всего, тем, что в советском, а затем российском историко-гуманитарном официальном дискурсе, периодически отработывавшем социальный заказ на волну антисемитизма, не было места для символического признания этой категории, которая не была на фронте и не ковала победу в тылу. Илья Альтман описывает все сложности этой темы в отечественном контексте, не лишая, тем не менее, читателя некоторой надежды на либерализацию дискурса [Альтман, 2005].

В отношении нарративизации пережитого Холокоста давно подмечено, что в отличие от тех, кто осуществлял насилие, их жертвам труднее дается заверченный, непрерывный рассказ, а также тематизация событий их жизни, связанных с преследованиями, так что они едва ли могут об этом говорить [Rosenthal, 1995]. Они с трудом дистанцируются от ужасного пережитого. Большинство прибегает к умолчанию с амбивалентным желанием все же рассказать, поделиться. Сложности рассказывания после долгих лет молчания порождают лакуны рассказа, обусловленные пережитой травматизацией. Стремясь своими рассказами противостоять забыванию преступлений нацистов или возрождению тезиса об Освенциме как мифе (так называемые отрицатели Холокоста: Д. Хогган, Б. Смит, Н. Финкельштейн, А.Р. Бутц, Э. Гаусс, Р. Харвурд, Р. Фориссон и др.), они пытаются рассказать о травматичном и поэтому сложно, трудно излагаемом событии, оставить свидетельство с их личным опытом. И в этом случае возникает проблема проговорить как раз то, что наиболее болезненно, что приносит новые мучения в процессе рассказа. Сложная задача рассказа сопряжена с тем, что нет еще целостного образа, гештальта ¹ того, что пережито, но прежде еще не рассказывалось.

¹ Гештальт (от нем. Gestalt – образ, форма) – целостная структура, упорядочивающая многообразие отдельных явлений. Среди законов гештальта были выделены тяготение частей к образованию симметричного целого, группировка этих частей в направлении максимальной простоты, близости, равновесия, а также тенденция каждого психического феномена принять завершенную форму.

Если же рассказы не рассказываются, возникает опасность, что травмированные останутся пленниками, как бы арестованными в пережитом, и не смогут от него дистанцироваться. И тогда едва ли возможно переживать прошедшее как отличающееся от настоящего: «Акт воспроизведения ставит прошлое в рассказе в осовремененную дистанцию к современности, и происходит темпоральный разрыв» [Roettgers, 1988. S.7]. Рассказ представляет форму превращения чужого в близкое, в котором незнакомое становится знакомым и понятным через нарративную деятельность самому рассказчику и его слушателю [Schuetze, 1976]. Невозможность рассказать ведет от травматичных событий жизненных фаз к вторичной травматизации после времени страдания. Если не удастся перевести опыты в рассказы, возникшие в пережитых ситуациях, травматизации усиливаются.

Фрагментация рассказов, как мы видели на приведенных примерах, – нарративные следствия травматичного жизненного опыта, нарушенного чувства целостности, непрерывности. Пережитая жизненная история фрагментирует, разрывает сознание этих людей и взаимосвязь между различными фазами жизни. Целые этапы жизни тонут в непроговоренности. Минутется вообще форма рассказа. Изобретается «спасительная» структура изображения: сначала рассказывается о начале войны, описывается само травматичное время, а затем – освобождение, жизнь после войны выглядит нарративно бессобытийно. Но умолчание может касаться и времени «перед», «во время» травмы либо «после» нее. Трудности рассказа о детстве и ситуации до травмы обусловлены сложностью их интеграции в биографию, поскольку весь предыдущий жизненный путь изломан. Если формулировать эту ситуацию в гештальте – фигура жизни до войны больше не интегрируема в фигуру после войны, нет связующих линий. Другая причина потери полного рассказа о жизни – идеализация того времени до травмы и населяющих его персонажей, а также искажение всех связанных с ними чувств, поступков, мыслей [Rosenthal, 1995]. Идеализация счастливого времени или нежных любящих родителей, братьев-сестер может вести к тому, что пережившие травму станут избегать рассказов, которые могут разрушить эти идеализации.

С точки зрения интерпретации связности/когеренции биографии важно отметить, что те, кто рассказывает о времени перед войной, повествовательно выстраивают именно те биографические нити, которые могут быть подхвачены вновь и после войны. Наш опыт предыдущих исследований биографий военного времени, в частности, остарбайтеров, показывает, что это практически невозможно – рассказ конструирует три отдельных, мало преемственных этапа

жизни, из которых нарративен в основном послевоенный рассказ, военный опыт передается защитно-описательно, а предвоенный – либо схлопывается, либо следует логике анкеты.

Итак, мы рассматриваем приводимую далее [см. в этой книге: «Интервью с бывшим узником концлагеря «Мертвая петля» Ароном Зусьманом»] историю жизни брацлавского мальчика, еврея, частью биографии которого стал Холокост как пространство травмированной социальной идентичности, которая, с одной стороны, испытывает давление кризиса смысла со стороны дискурсивных правил, ставящих под сомнение интересубъективное согласие других социальных групп советского, но и постсоветского общества относительно места и роли переживших подобный социально-исторический опыт, оценки и принятия их поствоенного нарратива. С другой стороны, катастрофический опыт пережитого с точки зрения самих субъектов не может быть наделяем смыслом¹ и претерпевает нарративное отчуждение различным образом – уходом в формы группового нарратива, фрагментации рассказа либо путем замалчивания. Ниже нам предстоит оценить нарративные стратегии нашего рассказчика.

Как мы нашли нашего респондента? Готовясь к проекту по историям жизни угнанных на принудительный труд в Германию остарбайтеров, я знакомилась с московской выставкой «Рабы Гитлера» в Музее социальной истории, поскольку выставочный дизайн, маршрутизация, отбор экспонатов, мера интерактивности отражают в определенной степени дискурс этой непростой темы в обществе. По выставке ходил еще один (!) человек и восклицал, озираясь в поисках отклика: «А мы здесь где? Есть все, кроме нас!». Подойдя, я познакомилась с Ароном Зусьманом, активистом движения бывших узников концлагерей и гетто, руководителем организации², и заручилась его готовностью дать мне интервью. Так совпали желание быть услышанным в контексте мемориальной выставки, организаторы которой значимо пренебрегли темой Холокоста, и мой интерес к биографии, связанной с Шоа.

Арон Зусьман родился 20 мая 1937 в Винницкой области, в Брацлавском районе, по профессии он врач-невролог, в 1955 году окончил школу с отличием в Брацлаве [см. Вишневецкий, 2007], в 1961 году – ЛСГМИ, сейчас Санкт-Петербургская медицинская ака-

¹ Мы не берем здесь в расчет позицию «внеаходимости» М.М.Бахтина как смыслопорождающую конструкцию выхода за пределы, ее религиозный вариант – в поиске оправдания смысла жизни также вне ее, но в вере – как у Семена Франка [Франк, 1994].

² Еврейская "организация узников фашистских концлагерей, гетто «РУФ», общероссийская общественная организация.

демия им. И.И. Мечникова, в 1985 году защитил диссертацию. В 1941–44 годах находился в немецком концлагере, прозванном узниками «Мертвая петля»¹, Винницкой области, село Печора; участник движения бывших узников фашистских концлагерей и гетто, председатель президиума Общероссийской общественной организации «Еврейская организация узников фашистских концлагерей и гетто» («РУФ»).

Само интервью проходило в пустом помещении местной ветеранской организации, с которой РУФ делит кров, за длинным столом для заседаний (в транскрипте этот стол будет не раз звучать аргументом), в окружении символических знаков советской эпохи – знамен, вымпелов, бюстов вождей, – классический антураж красного уголка. Рассказчик не изъявил желания быть анонимизированным, имя активиста, параллельно с профессией врача осуществившего род публичной карьеры, этого не предполагало. Он выразил согласие на использование интервью в научных и гуманитарных целях, ему также был отослан полный транскрипт интервью, которое было транскрибировано Ольгой Никитиной-Ван Бестен, ассистировавшей мне при проведении интервью, заботясь о технике. Во время интервью, которое потребовало от нас всех большого душевного напряжения, наш рассказчик иногда смеялся, чаще плакал, иногда повисали тяжелые длинные паузы. Эта была действительно биографическая работа, понимаемая не только как концептуальный термин [Fischer-Rosenthal, 1995], но и как физический труд. За статьей следует текст интервью с Ароном Зусьманом с небольшими сокращениями и минимальной редакторской правкой, сохраняющей стиль речи нашего рассказчика. Текст разбит для лучшего понимания рубриками, связанными с поворотными моментами биографии. С нашей точки зрения, он представляет собой «документ жизни» [термин Plummer,

1983], который этически не подлежит фрагментации в целях иллюстрирования пассажей исследовательской мысли, и он должен быть воспринят целиком.

Разумеется, такое интервью вряд ли возможно без частичной идентификации с рассказчиком, вживанием в рассказываемый опыт, неподдельный интерес вызывают этнографические сцены лагеря как экзистенциально пограничного пространства. Соответственно обратный процесс возвращения себе идентичности исследователя становится этически нагруженным, и предварительные договоренности с респондентом о копирайте, перспективах использования, наших обязательствах параллельны этим возникающим сложностям. Собственно, тот факт, что интервью «пролежало в столе», скорее, «провисело» в памяти компьютера, три года, говорит о том, насколько психологически трудно подойти к его анализу. Да и нужен ли анализ? Как мы знаем, Фонд Спилберга на этот вопрос отвечает отрицательно. Усилия наших немецких коллег из Института истории и биографии в Хагене в проекте по биографиям узников Майда-нека целиком и полностью ушли на архивирование этих драматических историй жизни. Очевидно, что биографии людей, которых социальная история поставила на грань существования, все же нуждаются в социальном комментарии и во введении в гуманитарный оборот. Мера и рамка анализа, разумеется, варьируют.

Если включить режим «холодных очей»¹, назвать рассказчика Арона Зусьмана информантом или респондентом, переключить внимание на организацию текста и меру его нарративности/описательности, смену и последовательность тематизаций – на макроуровне текста, а также на микроуровне – обратить внимание на конструкты нарративных пассажей, их занимательность, почти в стиле хасидских притчей, – то, разумеется, мы можем попытаться ответить хотя бы на один вопрос. Он важен с точки зрения интерпретации связности/когеренции биографии, – насколько наш респондент нарративно, но, с вероятностью, и реально в жизни, смог решить проблему восстановления целостности своей биографии, насколько возможной на его примере стала контртраума? Определенным маркером в нарративных стратегиях, которые служат показателем связности и восстановленной целостности биографии, является то, что в рассказе о времени перед войной рассказчик повествовательно выстраивает именно те биографические нити, которые могут быть подхвачены вновь и после войны.

¹ Брацлав был захвачен немцами 22 июля 1941 года, за это время в Брацлаве погибло 1840 евреев В еврейском концлагере смерти, прозванном самими узниками «Мертвая петля», села Печора Шпиковского района, были согнаны 40 тысяч евреев с местечек Винницкой области- Брацлава, Могилева - Подольского, Тростянца, Ладыжина, Тульчина и других. Кроме этого, сюда же попала часть евреев, депортированных из Бессарабии, Буковины, Румынии. Лагерь находился на границе румынской и немецкой зоны оккупации. Контролировался лагерь румынскими полицейскими. Холод, голод, эпидемии тифа, туберкулеза, дизентерии сделали свое дело. В отличие от немцев, которые иногда входили в лагерь с целью расстрела людей, румыны морили людей голодом, холодом и болезнями. К моменту прихода Советской армии в живых в лагере осталось не более 300 - 400 человек [см.: Вишневецкий, 2007].

¹ Метафора процедуры остранения, с введением профессиональной терминологии, позволяет контролировать переживания исследователя.

С чего начинается свой рассказ Арон Зусьман? С упоминания раввинов Брацлава, задающих с первых фраз морально-статусную высоту¹, которая становится некоторым ориентиром для описания историй выживания, противостояния, взаимопомощи, духовных, социальных и профессиональных карьер (история деда, ходившего в Иерусалим, раввина, остановившего погромщиков, кузнеца, победившего в соревновании с нацистом, отца, честно ждавшего своей очереди на экзекуцию, бабушки, знаменитой борщами). В конце рассказа проявляется статус публичного человека, заслужившего к себе внимание активностью на поприще меморизаторской деятельности, правда, отметим, в ключевых пассажах виден и предел этого внимания к нему и сложный сюжет денежной компенсации.

При чтении нарратива Зусьмана становится ясно, что его социальные амбиции, отличная учеба и мотиватор реванша за испытанную дискриминацию в школе позволили ему овладеть престижной профессией, которая выводила его в крепкие средние слои, если не элиту, советского общества. Таким образом, возникает содержательно закольцованный фрейм всего рассказа, внутри которого психологически и нарративно создается возможность вербализации тяжелейшего биографического опыта. Против ожиданий (вспомним исследования Г. Розенталя по биографиям Шоа, в которых упоминаются сложности вербализации и нежелание обращаться к пережитому) наш респондент сам изъявил желание быть выслушанным. Кроме того, контекстуальным фоном времени интервьюирования выступала кампания по выплате компенсаций жертвам войны, депортаций и лагерей, что предполагает институциональную рамку дискурсивного возобновления опыта в рассказе. Наконец, на выставке, в ситуации знакомства, наш рассказчик испытывает вновь столь хорошо знакомую политику пренебрежения: отсутствие в экспозиции темы Холокоста. По совокупности, эти факторы способствовали, на наш взгляд, тому, чтобы нарративно встроить пережитый опыт в целостный рассказ о жизни, биографию².

¹ Нусик Янкив Бэр Зусьман – дед по линии отца – меламед в иешиве (учитель в религиозном учебном заведении, предназначенном для изучения главным образом Талмуда), кантор (музыкальный руководитель, регент и сочинитель музыки, исполнитель религиозных текстов).

² Военные эпизоды им транслировались не раз, я встречала журналистское с ним интервью, в котором звучал знакомый мем «стекающих с екатерининских лип детских мозгов» [Скрипач из Брацлава, 2008]. Но задача описать жизнь в целом, с жизнью до войны и после, не лимитированная по формату, ставилась перед ним впервые.

Поскольку для нашего рассказчика важным оказался паттерн этнически кланового и семейного поведения и ориентации, воспользуемся пониманием функций семейной памяти у французской исследовательницы направления клинической социологии Анн Мюксель [Muxel, 1996]. Она выделяет три основные функции – передача/трансмиссия, «возврат к жизни» (можно перевести и как ревитализацию) и рефлексивность. Нас интересует в данном контексте функция передачи, которая, как своего рода «учебник жизни», отражает

настоятельную потребность, мобилизующую память, чтобы восстановить историю индивида в целом, состоящую из генеалогических и символических связей, которые объединяют его с другими членами семьи, свою принадлежность к которой он осознает [Muxel, 1996. P. 14].

В этом смысле само содержание семейного мемората Арона Зусьмана через упоминание персонажей и связанных с ними семейных историй обнаруживает свойственные клану жизненные сценарии, прописывающие ценностно окрашенные модели поведения, успешные/неуспешные стратегии выживания, брачный выбор, пути поиска профессии и социальной мобильности. Поскольку лишения, опыт дискриминации испытаны несколькими поколениями и транслируются потомкам, наследуется и способ их преодоления.

Список использованных источников

Альтман И. Мемориализация Холокоста в России: история, современность, перспективы // «Неприкосновенный запас» 2005, №2-3(40-41).

Амихай И. «Открыто, закрыто, открыто». Тель-Авив и Иерусалим: «Шокен», 1998. С. 173–177.

Дубин Б. Что остается от Аушвица. Архив и свидетельство. Эл. ресурс: <http://www.polit.ru/research/2009/03/26/agamben.html>.

Вишневецкий А. Шесть веков еврейского Брацлава // Новости недели. Приложение «Еврейский камертон» 22.03.2007 // http://alvishnev8391.narod.ru/Evreyskiy_Braclav.htm.

Здравомыслов А.Г. Тройственная интерпретация культуры и границы социологического знания // Социологические исследования, № 8, 2008. С. 3-18.

Рожественская Е. Нарративная идентичность в автобиографическом интервью // Социология: методология, методы, математическое моделирование, №30, 2010. С. 5-26.

Руткевич А.М. Психоанализ, история, травмированная «память» // Феномен прошлого. Отв.ред. И.М.Савельева, А.В.Полетаев. М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2005. С. 221-250.

Рюзен Й. "Утрачивая последовательность истории" (некоторые аспекты исторической науки на перекрестке модернизма, постмодернизма и дискуссии о памяти) – В. "Диалог со временем". Альманах интеллектуальной истории. Вып. 7. М.: Едиториал УРСС, 2001. С. 8-26.

Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность // «Цепь времен»: Проблемы исторического сознания / Ред. Л.П. Репина. М.: ИВИ РАН, 2005. С. 38-62.

Скрипач из Брацлава, 01/23/2008. http://old3.rusrek.com/ru/newspaper/article/4991/skipach_iz_braclava.

Франк С. Смысл жизни // Смысл жизни: Антология. /Сост., общ. ред., предисл. и прим. Н.К. Гаврюшина. М.: Изд. Группа «Прогресс-Культура», 1994. С. 489-583.

Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические исследования. 2001. № 1. С. 6-16.

Fischer-Rosenthal W. Schweigen, Rechtfertigen, Umschreiben. Biographische Arbeit im Umgang mit deutschen Vergangenheiten // W. Fischer-Rosenthal, P. Alheit (Hgs) Biographien in Deutschland. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1995. S. 142-87.

Nikitina O., Rozhdestvenskaya E., Semenova V. Women's Biographies and Women's Memory of War // Hitler's Slaves. Life Stories of Forced Labourers in Nazi-Occupied Europe / Edited by Alexander von Plato, Almut Leh, and Christoph Thonfeld Oxford-New York: Berghahn Books, 2010. P. 273-284.

Muxel A. Individu et Mémoire familiale. Paris: Nathan, 1996.

Plummer K. Documents of Life. An Introduction to the Problems and Literature of a Humanistic Method. London: Unwin Hyman, 1983.

Roettgers K. Die Erzaehlbarekeit des Lebens // BIOS. 1 (1), 1998. S. 5-12.

Rosenthal G. Erlebte und erzählte Geschichte. Gestalt und Struktur biographischer Selbstbeschreibungen. Frankfurt/Main: Campus Verlag, 1995.

Schuetze F. Zur linguistischen und soziologischen Analyse von Erzaehlungen // Internationales Jahrbuch fuer Wissens- und Religionsoziologie, Bd.10, Opladen:Westdeutscher Verlag, 1976. S.7-41.

Интервью с бывшим узником концлагеря «Мертвая петля» Ароном Зусманом

Интервьюер: Елена Рождественская

Детство

Я родился... городок такой, Брацлав, Винницкая область, Украина. Брацлав был славен своими раввинами, э... ребе Нахман и ребе Цадик Нусик. Вот... Нахман умер в Умани, а Нусик похоронен на Брацлавском кладбище. И несмотря на многочисленные погромы петлюровцев, денкинецев, гитлеровцев, местных полицаев, и так далее, эти могилы остались нетронутыми. Настолько эти люди были святыми, что ни один бандит, ни один денкинец, петлюровец, полицай – никто не притронулся, никто не осквернил этих могил (вздых). Все-таки, Бога боялись (пауза).

Ну, родился э... в семье, хм, мой прадедущка был царский солдат, отслужил двадцать пять лет в царской армии, потом вернулся в Брацлав – ему уже было пятьдесят лет, и впервые женился он в пятьдесят три, вот, на старой деве, которой было двадцать пять. Когда прадеду исполнилось семьдесят пять лет, жена умерла, оставив девять человек детей. И он пришел в синагогу, плакал, и что ему делать, потому что младший совсем маленький, но они сказали: «Тебе придется жениться». Вот. Найдите, говорят, вдовушку, а тебе не положено, потому что принадлежал к касте, который мог жениться только на девушке. И ему община нашла снова девушку, старую, конечно, двадцатипятилетнюю.